



Куранты. 1993. — 6 июля. — С. 7.

Представьте себе лошадь, изображающую старую англичанку. В дамской шляпке, с цветами и перьями, в розовом платье, с короткими рукавами и с розовым рюшем вокруг гигантского воронного декольте, она ходит на задних ногах, нелепо вытягивая бесконечную шею и скаля желтые зубы.

Такую лошадь я видел в цирке осенью 1912 года. Вероятно, я вскоре забыл бы ее, если бы несколько дней спустя, придя в Общество свободной эстетики, не увидел там огромного юношу с лошадиными челюстями, в черной рубашке, расстегнутой чуть ли не до пояса и обнажавшей гигантское лошадиное декольте. Каюсь! Прозвище Декольтированная Лошадь надолго с того вечера утвердилось за юношей... А юноша этот был Владимир Маяковский. Это было его первое появление в литературной среде или одно из первых. С тех пор лошадиной поступью прошел он по русской литературе — и ныне, сдастся мне, стоит уже при конце своего пути. Пятнадцать лет — лошадиный век.

Поэзия не есть ассортимент "красивых" слов и парфюмерных нежностей. Безобразное, грубое, пошлое суть такие же законные поэтические темы, как и все прочие. Но даже изображая грубейшие словами грубейшие, пошлейшие — словами пошлейшими, поэт не должен, не может огрублять и опошлять мысль и смысл поэтического произведения. Грубость и пошлость могут быть темами поэзии, но не ее внутренними возбудителями. Поэт может изображать пошлость, но он не может становиться глашатаем пошлости.

Несчастье Маяковского заключается в том, что он всегда был таким глашатаем: сперва — нечаянным, потом — сознательным. Его литературная биография есть история продвижения от грубой пошлости несознательной — к пошлой грубости нарочитой.

Маяковский никогда, ни единой секунды не был новатором, "революционером" в литературе, хотя выдавал себя за такового и хотя чуть ли не все его таковым считали. Напротив, нет в нынешней русской литературе большего "контрреволюционера" (я не сказал — консерватора).

Эти слова нуждаются в пояснении.

Русский футуризм с самого начала делился на две группы: эго-футуристическую (Игорь Северянин, Грааль Арельский, Игнатъев и др.) и футуристическую просто, во главе которой стояли покойный В. Хлебников, Крученых, Давид Бурлюк с двумя братьями. И эстетические взгляды, и оценки, и цели, и само происхождение — все было у этих групп совершенно различно. Объединяло их, и то не вполне, лишь название, заимствованное у итальянцев, и, в сущности, насилие притянутое особенно к первой, "северянинской" группе, которую, впрочем, мы оставим в покое: она не имеет отношения к нашей теме. Скажем несколько слов только о второй.

Хлебниково-Крученевская группа базировалась на резком отделении формы от содержания. Вопросы формы ей представлялись не только центральными, но и единственно существенными в искусстве. (Отсюда неизбывная связь нынешних теоретиков-формалистов с этой группой). Это представление естественно толкало футуристов к поискам самостоятельной, автономной или, как они выражались, "само-

витой" формы. "Самовитая" форма именно ради утверждения и проявления своей "самовитости" должна была всемерно стремиться к освождению от всякого содержания.

... Было у футуристов некое "безумство храбрых". Они шли до конца. Маяковский не только не пошел с ними, не только не разделял их гибельной участи, но и постепенно сумел, так сказать, перевести капитал футуризма на свое имя. Сохранив славу новатора и революционера, уничтожил то самое, во имя чего было вы-

Владислав ХОДАСЕВИЧ

и "босиков духовных". Был таким перед войной, когда восклицал и "пужал" подонки интеллигенции и буржуазии, выкрикивая брань и похабину с эстрады Политического музея. И когда в начале войны сочинял подписи к немецким лубкам, вроде знаменитого:

С криком: Дейчланд юбер аллес!
Немцы с поля убрались.

И когда, бля себя в грудь, патристически ораторствовал у памятника Скобелеву, перед генерал-губернаторским домом, там, где теперь памятник "Октябрю" и мос-

Но время шло. И вот уже перед нами — другой Маяковский: постаревший, усталый, растерявший зубы, — такой, каким смотрит он со страниц последнего, пятого, тома своих сочинений.

Ни благородней, ни умней, ни тоньше Маяковский не стал. Это — не его путь. Но забавно и поучительно наблюдать, как погромщик беззащитника превращается в защитника сильных; "революционер" — в благонамеренного охранителя невольских устоев; недавний динамитчик — в сторожа при лабазе. Ход, впрочем, вполне

благонамеренно и почтительно осуждает хулиганство. А к чему призывает? "Каждый, думающий о счастье своем, покупай немедленно выпирный заем!", "Спрячь облигации, чтоб крепили они. Облигации этой удержу нет: лежит и дорожает пять лет". Какой путь: из громил — в базарные зазывалы. "На любовном фронте", бывало, Маяковский в верхнем дворе превращал "буржуазную мораль". А теперь — "надо голос подымать за чистоплотность отношений наших и любовных дел". Вот он — голос благоразумия, умерен-

ковский плачет и причитает — над чем бы вы думали? Над профанацией литературы! О чем скорбит? О забытых заветах! Что видит вокруг себя? Упадок. Этому трудно поверить, но вот прямые слова Маяковского:

С молотка литература
пуцена.
Где вы, сеятели правды
или зевзд
сеятели?
Лишь в четыре этажа
халтурщина...
Нынче стала зелень веток
в редкость,
гол
литературы ствол.

ДЕКОЛЬТИРОВАННАЯ ЛОШАДЬ

"Жестоко вы написали, но — превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне". Это сказал А. М. Горький Владиславу Ходасевичу в 1924 году после того, как тот прочитал ему свой очерк о Брюсове. Просьба Горького была исполнена: Ходасевич написал о нем воспоминания, лучшие из которых вошли в книгу "Некрополь" (Брюссель, 1939г.). Публикуемая здесь первая статья Ходасевича о Маяковском появилась еще при жизни Маяковского, 1 сентября 1927 года, в парижской газете "Возрождение". И "Декольтированная лошадь", и посмертный очерк "О Маяковском" в той же газете (24 апреля 1930г.) — злы и язвительны. О скольких известных писателях размышлял Ходасевич и, пожалуй, ни о ком из них так "жестоко", как о Владимире Маяковском. И, думается, эта "жестокость" Ходасевича может быть понятна нам и сегодня, в канун столетия Маяковского, и спустя 63 года после его гибели, хотя, может быть, и не во всем разделена.

Когда Ходасевича не стало, Набоков высказал мнение, что "он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней". А за четырнадцать лет до этого советские чиновники, обвинив Ходасевича в несоответствии своим идеологическим требованиям и в "дурном влиянии на Горького", отказали ему в продлении советского паспорта и "предложили немедленно ехать в Россию, т.е. в ЧК", тем самым выбросив "гордость русской поэзии" из СССР и оставив его имя на родине до 1987 года исключительно в подстрочных примечаниях.

Маяковский же в 1920-е годы искренно ударно трудился по "социальному заказу". "Ваше слово, товарищ маузер!" Такое заявление для русской поэзии уникально по своей кощунственной дикости. Он, конечно, видел большевистский террор, расстрелы и тем не менее рекомендовал "юноше, обдумывающему житье", "делать" жизнь "с товарища Дзержинского", он "чистил" "себя под Лениным", создал поэму о вожде мировой революции...

В центре Москвы возвышается величественный монумент Маяковскому. И нет в столице положенных им скромных памятников Марине Цветаевой и Осипу Мандельштаму — поэтам, ставшим живой совестью России, мученикам "века-волкодава". Нет даже крошечной мемориальной доски, напоминающей о москвиче Владиславе Ходасевиче. Причина всему этому ясна — предшествующие семь десятилетий. Проложили ли эти десятилетия вечный водораздел в памяти потомков между нашими замечательными поэтами и их современником Маяковским? Не этот вопрос еще предстоит ответить будущему времени. И, каков бы ни был ответ, слава Богу, не было и никогда не будет в центре Москвы грандиозных идолов Александра Блока или Марины Цветаевой.

Наш Данте XX века, Блок, говорил, что "смотрел на раду, когда писал "Двенадцать", оттого в поэме осталась капля политики". Он опасался, как бы эта "капля" через годы не стала подтачивать его бессмертные творения. Маяковский сознательно растворял свой дар в водовороты политики — в "атакующем классе", в "ста томах... партийных книжек". Сколько раз Цветаева по-доброму в отличие от Ходасевича откланилась на природное дарование Маяковского. Он отвечал ей глухим молчанием. Известны только мимолетно-пренебрежительный его отзыв на книгу "Версты" в 1926 году да промолвленное как-то вскользь о ее творчестве в 1929-м: "Вещь... направленная против нас, не имеет права на существование, и наша задача сделать ее максимально дрянной и на ней учить".

За четыре года до своего рокового выстрела в сердце Маяковский взялся поучать трагически ушедшего из жизни Есенина: "В этой жизни /помереть не трудно — /Сделать жизнь/значительно трудней". Не была ли безвременная смерть самого Маяковского следствием того безысходного положения, к которому вел себя сам писатель? Ходасевич, редко ошибавшийся в прогнозах, в "Декольтированной лошади" "жестоко" предрекал Маяковскому скорый итог (кстати, Ходасевич ошибся-таки, полагая в той же статье, что звать Горького в СССР — "безнадежная задача").

Ходасевич в отличие от Цветаевой и Пастернака не принимал и дореволюционного творчества Маяковского, более чем сдержанно относился к футуристическому направлению, стремившемуся к самоцельным достижениям в области формы, ведущим к зауми. Об этом он писал в некоторых дореволюционных статьях, в стихотворении "Жив Бог! Умен, а не заумен..." (1923).

В столетнюю годовщину Маяковский осознает отсутствие органичной цельности его пути, цельности истории его души, присущей крупнейшим русским поэтам. И невольно задается вопросом: останутся ли в памяти будущих поколений его дореволюционное "Облако в штанах", его "Про это", "Во весь голос", цикл "Люблю", трогательные письма к Лиле Брик? Хочется надеяться, что они не канут в Лету вместе с "тяжелоступным" потоком его политической дидактики и лубочных псевдобличений, вместе с мрачными большевистскими писаньями Фадеева, Серафимовича и Д. Бедного, судьба которых, есть основания полагать, предreshена.

Евгений БЕНЬ,
ведущий рубрики "Наследие России".

кинуто знамя переворота. По отношению к революции футуристов Маяковский стал изгоем.

... Маяковский же предложил практический, общепонятный лозунг:

Ешь ананасы,
Рябчиков жуй, —
День твой последний
приходит, буржуй!

Не спорю, для этого и для многого тому подобного Маяковский нашел ряд выразительнейших, отчасти составленных формул. И в награду за крылатое слово он теперь жует рябчиков, отягченных у буржуев. Новый буржуй, декольтированная лошадь, дезомоздился за стол, точь-в-точь как тогда в цирке. Если не в дамской шляпке, то в колпаке якобинца. И то, и другое одинаково ей пристало.

"Маяковский — поэт рабочего класса". Вадор. Был и остался поэтом подонков, бездельников, босиков просто

ковский совдеп! И когда читал кроважадные стихи:

О панталоны венские
коготок
Вытрем наши штыки! —

эту позорную нечаянную пародию на Пермонтова:

Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?

И певцом погромщиков был он, когда водил орду хулиганов героически приступить брать немецкие магазины. И остался им, когда после Октября писал знаменитый марш: "Левой, левой!" (музыка А. Лурье).

Пафос погрома и мордобоя — вот истинный пафос Маяковского. А на что обрушивается погром, ему было и есть все равно: венская ли коготка, витрина ли немецкого магазина в Москве, схваченный ли за горло буржуй — только бы тот, кого надо громить.

естественный для такого "революционера", каков Маяковский: от "грабь награбленное другими" — к "береги награбленное тобой".

Теперь, став советским буржуем, Маяковский прячет коммунистические лозунги в карман. Точнее — выпарывает их только для экспорта: к революции призываются мексиканские индейцы, нью-йоркские рабочие, китайцы, английские шахтеры. В СССР "социальных противоречий" Маяковский не видит. Жизнь в СССР он изображает прекрасной, а если на что обрушивается, то лишь на "маленькие недостатки механизма", на "легкие неуклюжести быта". Как измучивали его темы! Он, топтавший копытами религию, любовь к родине, любовь к женщине, — ныне борется с советским бюрократизмом, с растратчиками, со взяточниками, с системой протекции...

Предводитель хулиганов, он

ности и аккуратности.

Бывало, нет большей радости, чем "сбросить Лермонтова с парохода современности", оплевать дорожное, унижать высокое. Теперь Маяковский оберегает советские авторитеты не только от оскорбления, но даже от излишней фамильярности: "Я взываю к вам от всех великих: — милые, не обращайтесь с ними фамильярно!" Ибо почтительное сердце Маяковского сжимается, когда он видит

Гигиенические подтяжки
Имени Семашки

или что-нибудь "кошунственное" в этом роде.

Мелкомецкая жизнь СССР одну за другой подсовывает Маяковскому свои мелкотравчатые темочки, и он ими не только не брезгует, — он по уши увяз в них. Некогда певец хама протестующего, он стал певцом хама благополучного: певцом его радости и печали, охранителем его благ и целителем недугов.

При этом мысль Маяковского сохранила, конечно, свою постоянную грубость. Свою работу на пользу испугующего начальства Маяковский считает выполнением "социального заказа", а труд революционного поэта неприкровоно связывает с получением гонимых. Недаром, говоря о низком уровне мексиканской поэзии, он рассуждает: "Причина, я думаю, слабый социальный заказ. Редактор журнала "Факел" доказывал мне, что платить за стихи нельзя". Недаром также, зазывая Горького в СССР (безнадежная, кстати сказать, задача) — Маяковский в виде самого убедительного аргумента божится:

Я знаю — Вас ценит и
власть,
и партия,
Вам дали бы все — от любви
до квартир.

Что Маяковский стареет, постепенно выходит в тираж, что намечается и крепчает уже даже в СССР литературная "переоценка Маяковского", — я говорю отнюдь не на основании моих собственных наблюдений. Это прежде всего стал чувствоваться не кто иной, как сам Маяковский, и его последние книги в этом отношении показательны.

Брюзжание на молодежь, на "нынешних", выставление напоказ старых заслуг — первый и верный признак старости. И все это есть в "Послании к пролетарским поэтам", в "Четырехэтажной халтуре". Уже недавний застрельщик новаторства (хотя бы и самозванный) — Мая-

Это ли не типичное брюзжание старика на молодых? От общих рассуждений о "нынешней" литературе Маяковский пытается перейти в наступление. Одного за другим то высмеивает, то объявляет он бездарностями поэтов более молодых, тех, в ком видит возможных наследников уже уступающей от него славы. Достается по очереди Казину, Радимову, Безыменскому, Уткину, Дорониному — всем, кого справедливо ли, нет ли, но выдвигала в последние годы критика и молва. И наконец — последний, решительный признак старости: желание казаться молодым, не отставать от молодежи. "Я кажусь вам академиком с большим задом?" — спрашивает Маяковский — и тут же миролюбиво — заискивающе предлагает: "Заставим распределение орденов и наградных, бросим, товарищи, наклеивать ярлычки".

Бедный Маяковский! Он то сердится, то заискивает, то лжается, то помахивает хвостом — и все одинаково неуклюже.

Еще более неуклюже выглядит у него поучение к молодежи, напечатанное здесь же под заглавием "Как делать стихи". Это — первое, сколько я помню, "теоретическое" выступление Маяковского. К сожалению, недостаток места не позволяет мне остановиться подробно на этом беспорядочном, бессистемном перечне поэтических "правил". Грубость и тушость формальных суждений Маяковского превосходят всякие ожидания: это все, что я могу сказать, не утомляя неподготовленного читателя анализом, который к тому же занял бы слишком много места. Читая "поэтику" Маяковского, удивляешься, каким образом при столь жалких понятиях о поэтическом мастерстве, удавалось ему писать хотя бы даже такие стихи, как он писал? Очевидно, как это часто бывает, "муза" Маяковского, его внутренний инстинкт — все-таки бесконечно выше и тоньше его жалкого ума. Нет ничего более убогого в литературе о поэзии, нежели рассуждения Маяковского, — эта смесь невежества, наивности, хвастовства и, конечно, грубости.

Однажды не так давно Марина Цветаева обратилась к Маяковскому со стихами:

Превыше крестов и труб,
Крещенный в огне и дыме,
Архангел-тяжелоступ —
Здорово в веках, Владимир!

Кажется, это был один из последних поэтических приветов, посланных Маяковскому. Впрочем, тяжелоступ остался верен себе и ответил на него бранью.

* На самом деле в 1912 г. футуристы хотели сбросить с "парохода современности" Пушкина.